

Однажды, открыв наугад книгу православной писательницы Олеси Николаевой, прочитала там историю встречи автора с митрополитом Антонием Сурожским, историю, которая показалась мне повествованием высокого духовного напряжения. Заглянув в начало текста, несказанно удивилась, обнаружив, что рассказ называется просто: «Про любовь»...

С таким же чувством удивительной простоты было воспринято мною в первые минуты и стихотворение Светланы Сырневой «Бабье лето»:

Закат полыхает,
но тёмён восток,
таинственный миг
полутыня, полусвета.
И солнце уж село,
и на землю лёг
покой равновесного
бабьего лета.

Тяжёлые ветви
недвижны в садах,
гурьбой георгины
приникли к забору.

Марина
МАСЛОВА

Журавлиное вечное лето

Об одном стихотворении Светланы Сырневой

О, всё обратится в унынье и прах
ещё не сегодня, не завтра — но скоро.

А нынче, на самом краю пустоты,
такая наполненность жизни всевластной,
что в ней без труда различаешь черты
надмирной долины, чужой и прекрасной.

Прощальный, утешный подарок небес —
Тебе он всего на мновенье дарован.
Смотри же, смотри: вечеряющий лес
приблизился, стал — и молчит, очарован.

Вечерние тени так мягко легли —
ни ветра, ни стука, ни дальнего грома.
И низко над нами летят журавли:
уже улетаю, они ещё дома.

Спускайтесь всё ниже! Ищите ночлеж
в тепле, где лоштина ещё не остыла.
Нет, вы не увидите холод и снег —
от этого родина вас оградит.

Ночуйте! А завтра, набрав высоту
и в путь отправляясь, вы взором привет
окинете милую родину — ту,
где доброе солнце и вечное лето.

С первого прочтения пленяешься только музыкой авторского голоса и уже после начинаешь вникать в милье сердцу подробности земного бытия, ещё не осознавая, что каждая строчка — и про тебя тоже...

Возвращаешься к названию: «Бабье лето»... Да, и вправду пора печальная, но что-то родное в ней, близкое сердцу и взгляду:

Тяжёлые ветви недвижны в садах,
гурьбой георгины приникли к забору...

Настолько простая картина, что даже удивляешься: а почему голос поэта так ново звучит в тебе, почему так трогают эти приникшие к забору георгины?... Повторяешь строку снова и снова — и не можешь понять, в чём её тайна... Что это за наятая струна вдруг начинает вибрировать в грудной клетке?...

О, всё обратится в унынье и прах
ещё не сегодня, не завтра — но скоро.

...Потому что где-то когда-то, в далёком детстве, эта неизбывная журавлиная печаль однажды остро пронзала сердце... Незабываемо, на всю жизнь, так что до сих пор задышаешься, давишься глотком воздуха, тщетно пытаешься прочесть выученное наизусть в раннем детстве стихотворение, донести с теми журавлями их трагическую судьбу до конца...

Вылетев из Африки в апреле
К берегам отеческой земли,
Длинным треугольником летели,
Утопая в небе, журавли.

Но когда под крыльями блеснуло
Озеро, прозрачное каквозь,
Черное зияющее дуло
Из кустов навстречу поднялось.

Луч огня ударил в сердце птичье,
Быстрый пламень вспыхнул и погас,
И частица дивного величия
С высоты обрушилась на нас.
Два крыла, как два огромных воя,
Обняли холодную волну,
И, рыдая горестному вторю,
Журавли рванулись в вышину.

Только там, где движутся светила,
В изскутенье собственного зла
Им природа снова возвратила
То, что смерть с собою унесла...

...И вот — они снова летят, эти журавли!
И теперь наконец-то можно прочесть стихотворение до конца, не задыхаясь от жалости и обиды. Этих журавлей можно проводить взглядом, который не застыт слёзы... Потому что у Светланы Сырневой — вечные журавли... Те летели в «долину изобилья» земную, а эти зовут — в долину надмирную...

Ночуйте! А завтра, набрав высоту
и в путь отправляясь, вы взором привет

окинете милую родину — ту,
где доброе солнце и вечное лето.
И вечное лето... Вот когда пронзает догадка! Да, это — те самые журавли...

Но за них снова больно. Ведь это родина поэта для них милая и добрая, это она, родина поэта, их оградила от холода и снега... А если к небу вскинет голову не поэт... если тот, кто тогда, в прошлом веке... тех журавлей, что летели в апреле... И снова этой давней болью, вспыхкой, заревом... —

Луч огня ударил в сердце птичье,
Быстрый пламень вспыхнул и погас...

Не помню, сколько мне было лет, когда впервые прочитала это стихотворение Заболоцкого то ли в школьной хрестоматии, то ли в другой какой книге на учебном столе старшего брата. Но помню, что, захлебнувшись с первых же строк этим восторгом непостижимого, силой поэзии внушаемого, но бесознательно, как бы только кожей ощущаемого величия и отчаяния, потом так и не смогла ни разу прочесть эти стихи вслух в присутствии кого-нибудь, а только, выучив сразу же наизусть, носила их в себе, чтобы повторять, читать их себе вслух в такие минуты, когда душе хочется в одно и то же мгновение и жить и умереть. Теперь понимаю, что это она так напигтывалась чувством трагического, которое, несомненно, возвышало и закаляло её, заставляя меня взрослеть. С тех пор ещё только одно стихотворение из всей русской поэзии точно так же воздействует на душу — ни разу ещё не смогла прочесть, не задохнувшись до горловых спазмов... «Песнь о собаке» Сергея Есенина...

И вот — эти дивные стихи Светланы Сырневой, где снова летят журавли моего детства... и снова перехватывает дыхание...

...Вечерние тени так мягко легли —
ни ветра, ни стука, ни дальнего грома.
И низко над нами летят журавли:
уже улетаю, они ещё дома.
И снова это неуповимо двойное чувство грусти и нежности, радости и сожаления... почти что готовности в одно и то же мгновение и задохнуться от счастья, и умереть от тоски...

Спускайтесь всё ниже! Ищите ночлеж
в тепле, где лоштина ещё не остыла.
Нет, вы не увидите холод и снег —
от этого родина вас оградит.

Чем объяснить это волшебное воздействие слова и ритма? — Ищите те же ритмы в тепле, где лоштина ещё не остыла...

Да вся эта строфа — для меня какое-то таинственное, закодированное место... Странно волнующее соединение образного представления и звукограда... — Ищите ночлеж... где лоштина ещё не остыла...

Будто журавли, шура могучими крыльями, пронеслись над моей головой... И сейчас они опускаются на краю того огорода у дома моих родителей, где я все сознательные годы детства только и мечтала увидеть этих птиц поближе, а они только полетали где-то высоко надо мной, грустно курлыча, растравляя мою детскую неизбывную тоску. Аисты к нам спускались, а журавли — никогда...

Сразу за родительским домом был долгий пологий овраг... та самая лощина, куда вот-вот опустятся эти усталые кочующие птицы...

Ночуйте! А завтра, набрав высоту
и в путь отправляясь, вы взором привет
окинете милую родину — ту,
где доброе солнце и вечное лето.

Постойте, как это — вечное? А как же зима? Ах да, это же только для меня зима, а они летят туда, где зимы вообще нет. Они ведь зимы не знают! Для них наша родина — вечное лето...

Россия — вечное лето. Для журавлей... А для людей?... Не «Зимняя свадьба» ли она для людей?...

...Долго душе привыкать,
как на чужбине, в раю,
вечно грустить-вспоминать
зимнюю свадьбу свою.
Из невозвратных краёв
немо смотреть с высоты
на белоснежный покров,
на ледяные цветы.

И уже совсем иным зрением прочитываешь «Бабье лето» с самого начала, строфа

шей поэтессой современной России», кто-то изумился, какими «глобальными образами» мыслит поэт, а кто-то настаивал на гениальности автора «Северных песен». Звучали краткие, но веские определения, авторам которых хватало одного или двух слов: «Воздух и Смысл! Классика!», «Мощь и Красота». Сразу несколько комментаторов настаивали на своём мнении примерно в таком духе: «Стихи — гениальны! Настаиваю». Вот по поводу понятий гений и гениальность и завязался спор, в который и я, не стерпев, включилась:

«...когда читаю чужие мнения о том, что Светлана Сырнева гениальный поэт, чувствую, как от волнения начинает чаще стучать сердце. Потому что это правда. И я понимаю, что это моя правда. Мне не нужно дожидаться "мнения потомков". Гениальность поэта, как и вообще любого человека, не измеряется каким-то "качеством" или "количеством". Гениальность это не какая-то степень таланта, пусть и самая высшая. Это особое качество дара, духовного дара. Всё-таки "талант" изначально — денежная единица. "Духовным даром" она становится только при условии правильного понимания притчи Господней. Потому гениальность — понятие духовное, она мастерством или каким-либо иным качеством личности, кроме дара постижения духовных основ бытия, вряд ли может



за строфой. И вдруг понимаешь что-то самое главное...

Думается, тут происходит примерно такое же преобразование мысли, возникает то же ощущение, которое по-своему передаёт, прочитав стихи Светланы Сырневой, прозаик из Архангельска Михаил Попов. «Земные реалии овеяли духом вечности...» — написал он в своём комментарии.

Это был единственный подписанный именем автора комментарий (другие были анонимны) на сайте «День литературы», где я впервые прочла эти стихи, и тоже не удержалась, чтобы не откликнуться и на стихи Светланы Сырневой, и на впечатление Михаила Попова, и на возникший спор о гениальности поэта.

Стихотворная подборка «Северные песни» была опубликована в прошедшем году на двух сайтах — сначала на сайте «День литературы», значительно позднее — на «Русском писателе». В обоих случаях публикация вызвала многочисленные горячие отклики читателей. Горячность суждений порождала споры, амплитуда эмоциональных оценок захватывала противоположные полюса.

Вот на сайте ДЛ под стихами Светланы Сырневой появился некий анонимный комментарий, какие пишутся, как я думаю, когда сказать нечего, но очень хочется. Причём хочется именно потому, что в душе пусто, ничего не дрогнуло, но признаться в бесчувственности почему-то стыдно. Надо найти причину своей пустоты в чужих стихах. И вот некто пишет: «Длинновато каждое стихотворение в отдельности». Разумеется, ему тут же предложили читать комиксы: куда уж короче «каждый в отдельности». При этом кто-то назвал Сырневу «крупней-

определяться. Потому читатель, чувствующий сразу, улавливает это измерение поэзии Светланы Сырневой. А читатель только думающий — ждёт, когда за него кто-то сформулирует тезисы, по которым можно будет доказать, гениальны ли стихи.

«Гениальный поэт» — не «редчайшее» явление, а просто явление. Явление человеческого духа. А не «титун»!

Интонация обеспокоенности чужим титулом, якобы незаслуженным, действительно выдаёт ревность и зависть, увы. И это естественно. Потому что титулы присваиваются, их можно добиться всяческими ухищрениями. А попробуйте ревниво и завистливо "добиться" Божией благодати!..

Гениальность — как Божия благодать. Её можно только чувствовать верой. Верующим сердцем. Отключаться на неё.

Никакие посредники тут не нужны. Только Бог.

Если мы чувствуем это сегодня — зачем ждать, пока дозрдаются потомки? Думаете, они будут умнее? Искреннее?

А ведь потомки будут оглядываться на нас...».

Точно так же, как мы сегодня оглядываемся на тех, кто старше, кто умудрён большим опытом. Имено в виду сейчас мнение Николая Дорошенко: писатель с горечью высказывался о современном ему литературном процессе:

«Увы, помимо "реального процесса" сегодня есть Большая Неизвестная Литература. Вот, считается, что поэзии у нас нет. А в Кирове живёт Сырнева...

...На сайте «Российский писатель» — десятки ярких имен. Многие из них первого ряда, даже если в ряду этом — Блок и Есенин, Ахматова и Цветаева, Рубцов и Юрий Кузнецов... Вот, помню, Сырнева презентовала свою первую книжку в Москве, а Солоухин не смог дочитать её стихотворение со сцены в ЦДЛ, захлебнулся от восторга слезами. Что, я буду верить "реальному процессу" больше, чем Солоухину? Или я должен не доверять Кожинуву и Юрию Кузнецову? А многие ли теперь знают Сырневу, признанную даже и столь авторитетными писателями? Она не была в центре внимания даже и на солиднейшей Международной научно-практической конференции «Итоги литературного года — итоги десятилетия: язык — литература — общество», проведённой в апреле 2010 года с участием научных учреждений и вузов РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья в рамках постоянно действующего симпозиума «Теория и современный литературный процесс». А современный литературный процесс без упоминания Сырневой хотя бы в тройке самых ярких имен, это уже не процесс, а баракхолка».

Каюся, не всех авторов, названных Николаем Дорошенко среди «ярчайших имён», читала внимательно, но есть среди них те, на которых не просто обращаю внимание, увидев имя, а искренно радуюсь, бросаюсь тут же читать публикации, касающиеся их творчества и судьбы. Среди них и Светлана Сырнева.

В чём причина такого моего пристрастия, понять нетрудно. Только я на всякий случай немножко усложню своё объяснение отсылкой к одной дневниковой записи Михаила Пришвина, которая показалась мне лучшим разъяснением тайны воздействия на нас хорошей поэзии и вообще настоящей литературы.

В дневнике 1950 года Пришвин с недоумением размышляет:

«Четвёртый раз подряд со мною повторяется одна и та же история: я, признанный мастер рассказа, пишу рассказ, и когда, уверенный в его совершенстве, читаю вслух, уже во время чтения своего по исчезновению ритма в произносимых словах понимаю, что рассказ нигде не годится. Сегодня я читал такой рассказ студентам Литинститута...».

Через день он снова записывает в дневнике: «Смутно переживаю происшествие вчерашнего дня в Литературном институте... Материалы мои были хорошо собраны, правильно расположены, но не хватало им момента творческой кристаллизации, когда каждое слово становится на своё место само собой...».

Вот эта кристаллизация смысла и силы в строке, когда кажется, будто каждое слово становится на своё место само собой, без ревнивой заботы автора, — одна из ярких примет поэзии Светланы Сырневой.

Возвращусь ещё раз к покорившему меня тексту, который перечитываю как заворожённая, не умея понять, что именно так воздействует в этих строках...

Спускайтесь всё ниже! Ищите ночлеж в тепле, где лоштина ещё не остыла. Нет, вы не увидите холод и снег — от этого родина вас оградит.

Ночуйте! А завтра, набрав высоту и в путь отправляясь, вы взором привет окинете милую родину — ту, где доброе солнце и вечное лето.

Ясно мне здесь одно — душа улетаёт вместе с журавлями, и не в жаркие страны, а дальше и выше она хочет улечь...

И в каждой из поэтических строф этого таинственного стихотворения узнаёт она и своё привычное земное томление (уже улетаю, но всё ещё дома), и веру в длающееся гостеприимство земного пристанища (в тепле, где лоштина ещё не остыла), и надежду на будущую высоту. Когда-нибудь и она отправится в путь вслед за журавлями, вместе с ними, и благодарно окинет прощальным взглядом всё бывшее и несбывшееся, но в любом случае — милое тем, что оно всё-таки было...

Мы, Россия, ещё поживём! Не сломали нас ветер и дождь.

Но главное в том, что журавли Светланы Сырневой научили меня мудрости. Им, улетающим, наша обшая родина — «милая», и через них понимаешь: чтобы Родина была вечным летом, надо мужественно принимать её холод и лёд...

Артур Рембо, заходя в деревню со странным названием Шелехметь (новая правильная рифма к слову «смерть»), переключался со студенческих, зигзагами чертившими воздух стрелками и, наводя Михаила Анищенко, повествовал ему о плавание пьяного корабля.
Шекспировская бездна раскрывалась в небесах, и звёздчатые чудеса, мерцающая самоцветами, сходили в строки видящего вечность одинокого, как крест на горе, поэта.
Он был из народной бездны, из самой гущи её и плазмы, что не мешало ему, сочетая разные линии, заваривать крепкий культурологический бульон, добывая словесную руту там, где казалось порой, её и быть не может.
Необычные, алогичные повороты внутри строк становились основополагающими векторами развития звука и смысла: Я волк, убивший человека всю жизнь писавшего стихи...

Нет у меня даже звука,
чтобы исторгнуть его...
Так не напишешь: можно только услышать, подчиняясь силе и самому-то не очень ясного дара, в котором от кары столько же, сколько и от кармы.



Мистерия приключения

Александр
БАЛТИН

К 70-летию Михаила Анищенко

Одной из вершин поэзии Анищенко заглавля мистическая поэма «Суд Синедриона», где Евангельская правда точно увидена по-новому, через свою призму, сквозь тайны кубических гранёных веков; и Христос становится ближе нам, как будто расстояние между ним и нами снизилось до нуля.

Анищенко зажигал даже не факелы, но звёзды стихов.
Он был мрачен.
Он был трагичен.

Жизнь — часто неоправданно и непонятно щедрая к людям бездарным, типа Пригова, — ему не оставила вариантов; но за любым из самых скорбных изломов его стихотворений мерцало сильнее небесное золото, тайным счастьем пролитое в строки и строфы: и мерцание это невозможно не почувствовать, соприкоснувшись с ним, погружаясь в великолепные словесные слои, созданные поэтом.

Парадоксальность строки свидетельствует о парадоксальности мышления — что, как асимметрия симметрии, на много интереснее линейной гладкописи:
Встань, пройди по черноталу
И, планируй не коря,
Полбию свою опалу,
Как награду от царя.

Но стих Анищенко гармоничен и мелодичен, какие бы интеллектуальные и этические парадоксы не прокаливали его, оставляя ощущение запредельности: так нельзя написать, можно только услышать...

От кого?
От ветра, Гамлеты, космоса, слёв истории, вечно колышущихся рядом, перетекающих в настоящее, живущих в нас...
Стихи Анищенко трагичны — и вместе светлы, есть в них та мера счастья, что серьёзнее прыжков и метрий: прикосновение к коловращению мирового духа...

Почти всегда нечто неожиданное поджидает читателя в строфе: никакой прямой-линейной логики:

Я жил, над родною разрухой немея,
Атланты в церквях
не вставали с колен.
На месте убитого льва из Немеи
Возникло смердящее царство иен.

Будучи человеком из плазмы народной, Михаил Анищенко столь густо насыщал стихи культурологическими ассоциациями и аллюзиями, что, казалось, прошёл многие образования насквозь... Однако, скорее дело было в чтении: лихорадочном и беспорядочном, обогатившем необыкновенно ум и душу поэта...

Он расширял свою душу, подключаясь к Блейку, мистикам, Булгакову, и всё, разумеется, проводя через собственные бездны, звенящие тяжёлыми дисками.

Его поэма «Суд Синедриона» горела призмой призм, предлагая увидеть Иисуса по-новому: дерзновение поэта не знало границ. И смерть не поставила их: стихи растут, прорываясь, протираясь сквозь наше глухое к художествен-

ному слову, кровотокающее от идиотского прагматизма время к сердцам людей, окончательно не уничтоженным тотальным потреблением...

Целлофановая бездна потребления как следствия жизни, закрученной вокруг торговой оси, и денег, взятых в роли основного арбитра, исключает интерес к поэзии вообще — ибо она сущностно своей противоречит подобной жизни; однако дело её длится — как было всегда на протяжении летящих лент человеческого развития.

За более чем четверть века истории постсоветской различными группами и группками надудало много забавных искусственных резных говень, низвергались кумиры прошлых лет, превозносились посредственности и загонялись в тараканы щели большие таланты из провинции, но, думается, по прошествии времени что-то от бурлившего поэтического котла сохранится...

Очевидная зыбкость всяких прогнозов делает их не особенно нужными: будет день — будет пища, в том числе и поэтическая, но предположив, что за последние двадцать пять — тридцать лет не было в поэзии никого ярче Михаила Анищенко и Бориса Рыжого, полагаю, что найду многих единомышленников.

Борис Рыжий — единственный случай справедливо сделанного «толстожурнальным» миром поэта — жил в слове, чувствуя его магические таинственные токи и импульсы, как способны лишь единицы из даже весьма одарённых словесно людей; невозможно объяснить, почему простейшее сочетание слов даёт эффект потусторонней, запредельной музыки:

Мне дал Господь не розовое море,
не силы,
чтоб с врагами покейтаться, —
возможность плакать

от чужого горя,
любя, чужому счастью улыбаться.
Бывает и эпитет столь красноречив, что в сочетании с определяемым словом испускает волны света, как здесь — розовое море.



Нечто тепло жило, развивалось в поэзии Рыжого — столь же похожей на стихи классика; чужая музыка: и страшная и величественная, ступенями поднимала вверх, чтобы бросить в

бездну, и опять сулить варианты взлёта... Не счесть перлов Рыжого — интонационно тёплых, эмоционально перенасыщенных, страдающих, взывающих; и простое перечисление было бы бессмысленно, как попытка запоминанием наизусть уничтожить ощущение чуда.

А именно такое ощущение рождалось от большинства стихотворений поэта.

...И — Михаил Анищенко: не имеющий точек соприкосновения с Рыжим, хотя тоже провинциал — но отчасти, несмотря на литинститутское образование, дремучий провинциал, человек из кондовой дебри и гущи народной, не замеченный ни столичными журналами, ни литературной тусовкой, ни редакторами премий, ни западными переводчиками; Михаил Анищенко, творивший в деревне Шелехметь (красивая рифма к слову «смерть») поэзию столь же возвышенную, сколь благородно-сложную, поэзию таких высот, где от поэмы «Суд Синедриона» сознание взрывалось — казалось, сам поэт был участником новозаветной трагедии, разыгранной два тысячелетия назад.

Анищенко осмысливал такие пласты истории, метафизики, русской жизни, небесных ключей, что сумма его произведений тянет на драгоценные свитки грядущего: когда будет осознано, что сделал поэт.

Он нищенствовал, пил, он в своём дремучем углу беседовал с Гамлетом, космосом, Христом, кузнечиками, Блейком, любимым сосудиком травы и пыльными мирами звёзд...

Он читал древнюю кору, как письменную ещё не открытого языка, и густейший взвар его стихов был питателен для каждого ума, алчущего не только красоты, но и истины...

от ключательно технологического пути, не позволяет говорить о грядущем поэтическом триумфе; но Борис Рыжий и Михаил Анищенко — через вечные символы, тоску по небу и ощущение его как закрытого сада — выразили своё время так плотно и полно, что никакое технологическое перенагромождение и отсутствие — по большому счёту — интереса к поэзии — не может отменить сияния их поэтических сводов.

Жизнь поэзии — сообщающиеся каналы, энергия мысли одного поэта перетекает в реальность стиха другого, преобразуясь в новую оригинальность.

Юрий Кузнецов — поэт образной мысли, сложной системы сказовых откровений смысла, и Михаил Анищенко, считавший Кузнецова своим учителем, переосмысливая пространство жизни и истории по-своему, слепками собственных образов, отчасти переводил мысли Кузнецова в новые регистры.

О, разумеется, Анищенко совершенно самостоятелен: более того, если судить по стиху его, часто вибрирующему абсурдными словосочетаниями, что резко вторгаются в память читающего, у них мало общего — вероятно, влияние Кузнецова было более важно для Анищенко-человека; но вот поэма его «Суд Синедриона» идёт — начинает, по крайней мере, движение-восхождение — от евангельских поэм Юрия Кузнецова. И там и здесь раскрывается русский космос осмысления самых важных в истории человечества текстов; он более тяготеет к сказу у Кузнецова, и в большей степени связан с толкованием Евангелия у Анищенко. И там и здесь сакральная свобода поэтического дыхания: она велика, и отливается в значительные — когда не совершенные — строки и строфы: она велика, как пространство воздуха. И в этом пространстве происходящее связано с каналом приближения наиважнейшей мистерии истории к нам, сегодняшним.

И мы, сегодняшние, можем черпать из творений двух поэтов высоты и силы: такой, какая отрицает свинцовые низины жизни.

Как знать, быть может, дух Юрия Кузнецова знает поэму своего учителя — самостоятельного, сильного мастера Михаила Анищенко, и, если знает, то не может не быть ею доволен...